

18+

Александр Остроухов

Усадьба Пилипино



Александр Остроухов

Усадьба Пилипино

«Издательские решения»

Остроухов А.

Усадьба Пилипино / А. Остроухов — «Издательские решения»,

Он вышивал тех, кого когда-то потерял. И вышил столько, сколько не приснилось бы ни в одном сне. Сто пятьдесят лошадей из пряжи. И жизнь, которая продолжается даже после того, как всё потеряно.

© Остроухов А.

© Издательские решения

Содержание

Часть первая. Сейчас	6
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Усадьба Пилипино

Александр Остроухов

© Александр Остроухов, 2026

ISBN 978-5-0070-8312-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть первая. Сейчас

Утро в усадьбе начиналось не с кофе, не с чая и не с добрых «с добрым утром». Оно начиналось с сонного взгляда, в котором уже жила вся старческая грусть — по конюшне, по лошадям, по детскому смеху, что когда-то звенел в этих комнатах.

Не с желания встать и пойти завтракать. С желания сесть за стол, раскрыть дневник в кожаном переплёте и пошелестеть пожелтевшими страницами. Когда-то там были мысли. Теперь — точки, запятые, каракули, заполняющие чистоту строк. Бумажная пустота, которая молчит громче слов.

Утро начиналось с лошадей.

Вышитые, разноцветные, они висели на старом, выдавшем жизнь шкафу. Там, где когда-то лежали вещи сына. Теперь — лошадиное сердце. Молчаливое, милое, трепетное. Старик Пилипино каждое своё пробуждение проводил пальцами по жёлтой, коричневой, серой пряжи. Ощупывал нити, вплетённые иглой в ткань, словно проверял — здесь ли они, все ли на месте.

Он не вышивал их от скуки. Он вышивал от боли.

Когда-то у него были настоящие лошади. Живые, с тёплыми боками, с запахом сена и пота. Конюшня гудела, копыта стучали по земле, а гривы путались в ветре. Потом их не стало. Как — он не говорил никому. Ни детям, ни соседям, ни даже бумаге в дневнике. Просто однажды утром он вышел во двор — и там было пусто. Только ветер ходил по голым стойлам, да висел на гвозде оборванный повод.

И тогда он взял иглу, пряжу и стал возвращать их обратно — одну за другой, нитку за ниткой.

Расставание с детьми не было драматичным — никто не ссорился, не хлопал дверьми. Но оно было больным. Тихо, глубоко, без крика. Дети уехали, и в доме осталась только тишина, шкаф с чужими вещами и горы пряжи. Сын ушёл, а лошади остались — вышитые, немые, прибитые гвоздями к старой древесине.

Их уже под сто пятьдесят. Они не ржут, не бьют копытом, не просятся в поле. Но они здесь. Простые. Сделанные одним одиноким, скучающим стариком, который каждое утро трогает их пальцами и шепчет про себя то, что не сказал ни детям, ни соседям, ни даже бумаге в дневнике.

...Он встал, надел очки и медленно выпрямился. Спина хрустнула — привычно, сухо, как старое дерево на ветру. Пилипино постоял мгновение, привыкая к вертикальному миру, и потянулся к палке, что стояла у кровати — резная ручка, потёртая ладонями до блеска. Без неё он уже не делал и трёх шагов. Ноги слушались плохо, но упрямо.

Он вышел из комнаты в коридор. Половицы скрипели — каждая на свой лад. Он знал их все: третья от двери пела тонко, седьмая стонала глухо, а у самого выхода одна предательски поддавалась под ногой, и он каждый раз на неё заступал, будто забывал. Или проверял — не провалилась ли ещё.

Кухня встретила его холодом и запахом засохшего хлеба. Он налил из чайника воды, заварил чай — чёрный, крепкий, без сахара. Привычка, оставшаяся с тех времён, когда пили в конюшне, обжигая губы, чтобы скорее согреться и снова выбежать к лошадям. Теперь чай пился медленно. Медленнее, чем хотелось бы.

За окном завозились воробьи. Он глянул на улицу: двор пуст, сарай покосился, у крыльца лужа, которая не высыхает уже третью неделю. А дальше — поле, и где-то за ним, у самой опушки, — остов конюшни. Там, где раньше стучали копыта, теперь только трава, которая лезет выше колена.

Пилипино допил чай, поставил кружку на стол, поправил очки и направился к выходу. Он знал: сегодня ему нужно дойти до конюшни. Не зачем-то. Просто дойти. Постоять, посмотреть, как ветер шевелит дверь, что висит на одной петле. Может, сесть на порог, достать из кармана клубок пряжи, который всегда лежит там с утра.

Кружку не сполоснул — оставил в раковине, рядом с вчерашней тарелкой, где засохли остатки каши. Кашу он варил себе сам, каждое утро. Овсяную, на воде, без соли и сахара. Ничего больше не умел, да и не хотел. Проще сварить, проглотить, чем возиться с яичницей или блинами, которые когда-то пекла жена. Её не стало двадцать лет назад — и с тех пор на плите стояла одна кастрюля.

Зубы он чистил тряпкой. Старой, влажной, намотанной на палец. Паста кончилась месяц назад, а идти в селпо — пять километров, и лень, и неохота. Зачем, если от него всё равно никто не ждёт свежего дыхания? Только лошади. Но они из пряжи, они не чувствуют. Он тёр зубы медленно, стоя перед осколком зеркала, что висел в прихожей — большое разбилось прошлой весной, когда он уронил его, пытаясь повесить обратно. Теперь — только половина, и он видел в ней левый глаз, седую щетину и морщину, похожую на трещину в земле.

На кухне, у окна, стояла старая фотография в деревянной рамке. Дети — дочка Маша и сын Николай — лет восемь и десять. Маша в платье с бантом, Николай с рогаткой, оба смеются, а за ними — лошадь, которую он тогда только купил, Зорька, белая с просинью. Он смотрел на неё каждое утро, пока пил чай. Иногда — дольше, чем пил. Иногда — до боли. Маша звонила раз в месяц. Голос — тонкий, напряжённый, как натянутая нитка. Николай — реже, раз в полгода, и всегда «пап, как дела?.. пап, я занят, у тебя всё хорошо?» Пилипино не обижался. Он просто слушал, кивал в трубку, хотя она не видела, и потом долго стоял, сжимая её в руке.

Сын забирал из дома только свои вещи. Лошадей — нет. И оставил шкаф. Теперь там — вышитое сердце.

Он сунул ноги в старые, разношенные сапоги — второй раз за день, потому что первым делом, как встал, уже выходил в туалет во дворе. Туалет — скрипучая будка в конце сада — был отдельным ритуалом. Не терпелось. Теперь снова — на крыльцо.

— Эй, Пилипко! — донеслось от калитки. — Опять в очках спишь?!

Сосед Михеич — маленький, круглый, с торчащим чубом — стоял, опершись на свой велосипед. Лицо его растянулось в улыбке, но глаза смотрели внимательно, чуть тревожно.

— А ты всё ворчишь, старый, — ответил Пилипино, поправляя очки. — Иди лучше свои грядки поливай.

— Грядки? Ха! Мои грядки сами растут, как я тебя — Пилипинок! — Михеич подмигнул. — Ты, главное, не вышивай их, а то моя больная баба ревновать будет — что у меня с тобой роман, раз ты мне лошадей даришь.

Пилипино не улыбнулся. Он смотрел на соседа, и в голове пронеслось: «Пилипино» — его прозвище из детства. Так называли его в деревне, потому что он был вторым сыном в семье: Филипп и Пипин — старший брат утонул в четырнадцать лет. Филипп остался один, но народ, чтобы не путать с отцом (тоже Филиппом), стал звать его Пилипино — смесь имени и фамилии, своя, родная, уличная кличка, которая застряла на всю жизнь. А теперь — и в паспорте, по привычке, и в деревне — все только так и знают. Сам он уже не помнил, когда в последний раз слышал настоящее — Филипп. Только от дочки, когда она звонила: «Папа, ты как?» — но и она уже чаще говорила — Пилипино.

Михеич, знавший его лет сорок, продолжал:

— Ну что, старина, идём к тебе чай пить? Аль боишься, что я твоих лошадей спугну? Они ж у тебя не кусаются, пряжей их покормлю — не укусят.

Пилипино молчал. Он не любил гостей. Но Михеич был тем немногим, кто заходил сам — без приглашения, без стука. Каждое утро он проезжал мимо и через калитку кричал что-то своё. И Пилипино знал — это не от любопытства. От одиночества. Оба они были одиноки. Михеич — после того как жена слегла, а дети уехали в город. Так они и стали друг для друга — два старика, один с велосипедом, другой — с иглой.

— Заходи, — сказал Пилипино, уже почти развернувшись. — Но чай без сахара.

— Знаю, — усмехнулся Михеич и качнул велосипед. — Ты ещё и лошадей без сахара вышиваешь. Чудак!

— А зачем вышивать лошадей из сахара? Болеть будут, — спросил Пилипино, не обращаясь от сервиза.

— Ври, ври, — Михеич хохотнул, усаживаясь за стол. — Ты у меня ещё кнут из карамели сделай, Пилипко! Я же пошутил. А ты серьёзно переспрашиваешь, как будто сам не понял.

Пилипино промолчал. Он возился у сервиза — шкафчика с потрескавшейся краской, где за стеклом стояли фарфоровые чашки с золотым ободком. Две из них — целые. Остальные — сколы, трещины, отбитые ручки. Жена собирала их, когда они только въехали в этот дом — тогда он ещё не был усадьбой, просто большим домом с конюшней и амбаром. Он достал две чашки — целые, поставил на стол, налил чай из заварочного чайника. Кипятка не было — он грел воду с утра, остыла, но Михеич не жаловался.

— Ты вот что, Пилипко, — сказал Михеич, прихлёбывая чай. — Так и будешь молчать? Я тебя тридцать лет знаю. Молчишь, молчишь, а потом выдашь — как топором по голове. Ты хоть сам-то помнишь, когда в последний раз смеялся? Ну кроме когда я тебя Пилипкой обзываю.

— Помню, — коротко ответил Пилипино, садясь напротив. — Когда дочка последний раз приезжала. Пять лет назад.

Михеич крикнул, заёрзал на стуле — ему стало неловко. Он взял чашку, повертел в руках, оглядывая комнату. Снова перевёл разговор:

— Слушай, Пилипко. А почему твой дом все усадьбой кличут? Ну, большой, да. Но не графский же. Тут и конюшня, и амбар, и сад — но ведь это просто хозяйство. Почему — усадьба?

Пилипино поправил очки, помолчал.

— Потому что так строили, — сказал он тихо. — Не просто дом, а порядок. Въезд — с восточной стороны, выезд — с западной. Дом лицом к дороге, конюшня — к полю, чтобы лошадей не пугать, когда их выводят. Амбар — за домом, чтобы ветер не задувал пыль на порог. Дед говорил: «Усадьба — это когда у каждой вещи своё место. Не для красоты, для дела».

Михеич усмехнулся, но не зло:

— А сейчас — где у каждой вещи место? Твои лошади на шкафу — место? Или просто не знаешь, куда их девать?

Пилипино не ответил. Он смотрел в сторону окна, где за деревьями угадывался силуэт конюшни — тёмный, с проваленной крышей, с дверью, которая висела на одной петле. Ветер налетал, и она чуть постукивала — даже отсюда было слышно.

— Пойдём, — сказал он, поднимаясь. — Покажу тебе, что от конюшни осталось.

Они вышли во двор. Утро уже перевалило за полдень, солнце висело высоко, но не грело — только светило, холодно и отстранённо. Михеич катил велосипед рядом, Пилипино — опирался на палку. Шли молча, мимо старого колодца, заросшего крапивой, мимо разбитого крыльца — большая доска вывалилась, и он наступал на неё с осторожностью, хотя знал её уже год.

Конюшня стояла на краю участка — кирпичная, когда-то красная, теперь — выцветшая, с тёмными пятнами мха и трещинами в стенах. Окна заколочены досками. Крыша провалилась в одном месте, и в проломе торчали сухие ветки — видно, птицы свили гнездо. Дверь скрипела, раскачиваясь на ветру — мерно, как маятник.

Пилипино остановился в двух шагах. Смотрел на дверь и не подходил.

— Здесь стояли стойла, — сказал он тихо. — Двадцать два. Вон там, слева, — первый. Вороной Гром. Он всегда начинал бить копытом, когда я входил. Справа — три гнедых: Звезда, Ласточка и Буря. Буря была самой норовистой, её боялись все, кроме меня. Я один мог к ней подойти.

Он замолчал. Михеич стоял рядом, не перебивал. Ветер стучал дверью — тук-тук, тук-тук.

— Дальше, — продолжал Пилипино, показывая палкой, — были молодые. Рыжие. Их я вырастил сам, из жеребят. Имена давал — Сокол, Ветерок, Мальва... — он запнулся. Голос чуть дрогнул, но он сглотнул и договорил: — Их всех увели.

— Куда? — тихо спросил Михеич, хотя знал ответ. Он не раз слышал эту историю, но каждый раз спрашивал заново — чтобы Пилипино мог сказать вслух.

— Не знаю, — ответил старик. — Сказали, что нельзя держать. Что чума. А потом оказалось — не было чумы. Но лошадей уже не вернуть.

Он подошёл к двери, толкнул её — она открылась с протяжным скрипом. Внутри было темно, пахло гнилой травой, сыростью и деревом. Пилипино шагнул внутрь, опираясь на палку, и замер. В потёмках светился только проём, куда он вошёл, и через него было видно, что стояла пусты. В одном углу лежала ржавая подкова. Пилипино поднял её, повертел в руках и сунул в карман.

— Я вышиваю их, — сказал он, выходя обратно. — Каждую, кого ещё я помню. По памяти. По цвету, по росту, по характеру. Чтобы они были рядом. Чтобы не забыть их имена.

Михеич снял кепку и потеревил её в руках. Хотел состричь — не получилось. Вместо этого он шумно вздохнул, положил руку на плечо Пилипино:

— Знаешь, Пилипко... Ты, может, чудака, но я тебя уважаю. Давай я вечером сена принесу, хоть немного. Наброшаю у входа, чтобы не пусто было. Чтобы было на что глянуть, когда придёшь.

Пилипино кивнул, не оборачиваясь.

И они стояли так — два старика, один с велосипедом, другой с палкой — перед пустой конюшней, где только ветер играл с дверью, стучал и стучал, как будто кто-то просился войти.

—

— О, гляди-ка, твоя Марина идёт, — сказал Михеич, кивая в сторону дома. — Опять тебя кормить будет. Ну, я поехал, а то баба моя уже заждалась.

Пилипино проводил его взглядом и медленно пошёл к дому. Из открытой форточки уже тянуло запахом жареного лука — Марина Алексеевна, как всегда, вошла без стука и уже командовала у плиты. Она заходила почти каждый день, потому что знала: без неё Пилипино будет жевать сухой хлеб и пить холодный чай.

Лук шипел на сковороде, картошка была нарезана ровными кубиками — учительница любила порядок во всём, даже в готовке. Она налила в кастрюлю воды, посолила, бросила лавровый лист и только тогда обернулась:

— Филипп, ты почему не садишься? Я скоро всё подам. Отдыхай.

Но Пилипино уже не слышал. Он сидел за столом, но не за тем, обеденным, а за маленьким — у окна, где лежала его коробка с нитками. Он достал её, поставил на колени и начал перебирать мотки. Жёлтый. Вот он. Тот самый, который он приметил ещё вчера.

— Филипп! — голос Марины стал строже. — Ты что, будешь сейчас вышивать? На голодный желудок?

— Немного, — ответил он, не поднимая глаз. — Чуть-чуть. Сделаю несколько стежков, потом поем.

Он взял ткань — небольшой лоскут, который лежал в коробке, приготовленный с вечера. Разгладил его ладонью, проверил край. Потом вдел нитку в иглу — медленно, аккуратно, хотя пальцы уже плохо слушались, и кончик нитки всё норовил ускользнуть. Он поймал его с третьей попытки, затянул узелок и начал.

Первый стежок — всегда самый трудный. Игла входит в ткань чуть глубже, чем надо, и нитка ложится не так ровно, как хотелось бы. Но второй, третий — уже легче. Пальцы запоминали движение, и скоро он уже не думал о них, только о форме.

Лошадь была вороной. Гром. Он вышивал его голову — высокую, с тонкой шеей, с той гордой посадкой, которую он помнил по утрам в конюшне. Грива падает набок, ноздри чуть раздуты — Гром всегда был чутким, он фыркал, когда Пилипино входил в стойло. Старик старался передать этот характер: не просто силуэт, а *того самого*. Жёлтая нитка пошла на глаза — глубокие, внимательные. Он вывел их двумя маленькими петлями — и вдруг, на мгновение, ему показалось, что лошадь смотрит на него.

— Гром, — прошептал он одними губами. — Ну как ты там?

Нитка оборвалась. Он не затянул узел, и она выскользнула из иглы. Пилипино замер, глядя на прерванный стежок. Глаза лошади смотрели пусто.

— Филипп! — Марина стояла рядом, вытирая руки о фартук. — Я сказала — есть. Отложи эту иглу.

Он нехотя отложил. Посмотрел на свою работу — голова и шея почти готовы, только глаз остался недоделан. Надо будет закончить после ужина. Он вздохнул и пересел к обеденному столу.

Марина поставила перед ним тарелку с дымящейся картошкой, положила кусок хлеба, налила молоко. Пилипино взял ложку, понюхал и начал есть — без спешки, но с аппетитом. Лук действительно был вкусным, и он даже не заметил, как съел половину.

— Хорошо, — сказал он неожиданно. — Вкусно.

Марина улыбнулась, но ничего не ответила. Она знала — это лучшее «спасибо», которого можно было дожидаться.

Он доел, отодвинул тарелку и собрался вернуться к игле, но в этот момент за окном послышался скрип велосипеда, а затем — голос Михеича:

— Эй, Пилипко! Где ты? Я пришёл!

Пилипино встал и вышел на крыльцо. Михеич стоял у калитки с огромным тюком сена на спине — он тащил его на велосипеде, привязав верёвкой к багажнику. Тюк был небрежным, вываливался, и несколько соломин торчали из-под верёвки. Сам Михеич запыхался, красный, но улыбался.

— Это тебе, — сказал он, сбрасывая сено на землю у крыльца. — Пусть лежит. Хотя запах будет лошадиный. А то у тебя тут воздух — как в склепе.

Пилипино посмотрел на сено. Оно пахло сухой травой, летом, полем. Он не заметил, как у него дрогнула рука, когда он провёл по тюку пальцами.

— Спасибо, Михеич, — сказал он тихо.

— Да ладно, — Михеич махнул рукой. — Ты только лошадей своих новых этим сеном не корми. А то мне баба скажет, что ты псих — сеном вышитых кормишь.

Пилипино хмыкнул — впервые за день почти как смех — и кивнул.

— Заходи. Я вышиваю Грома. Посмотришь.

Михеич привязал велосипед к забору и вошёл в дом. Марина уже поставила чайник, и на столе, рядом с иглой и тканью, появилась ещё одна чашка.

— Садись, Михеич, — сказала она. — Чай и так лишним не будет.

И они сели — три человека: старик, его сосед и учительница. За столом, где горела керосиновая лампа, а на окне лежала начатая вышивка вороного коня. Пилипино посмотрел на тюк сена за окном, потом на иглу, потом на своих гостей.

И впервые за много лет в усадьбе было почти как раньше — тихо, тепло, и кто-то рядом. Так было и раньше, но сейчас как-то особенно.

Пилипино сидел за столом, смотрел на свою начатую вышивку, на чашки с чаем, на соломинки, которые Михеич принёс с собой на сапогах, и чувствовал — что-то сдвинулось. Не то чтобы он стал счастливее, но в груди, там, где обычно пустота, теперь была тишина. Не звонкая, не больная, а та, в которой можно посидеть и выдохнуть.

Михеич взял свою чашку, отхлебнул и кивнул на вышивку:

— А это что за конь? Вон тот, с жёлтыми глазами?

— Гром, — ответил Пилипино. — Вороной. Ты его помнишь.

— Помню, — Михеич прищурился, разглядывая стежки. — Он же у тебя самый первый был, да? Я ещё в молодости к тебе заходил, ты его только купил. Он меня чуть не лягнул, когда я через забор полез.

— Он чужих не любил, — сказал Пилипино, и голос его чуть смягчился. — А меня — любил. Я его с жеребёнка растил. Три года ждал, пока окрепнет, потом заседлал и объездил всё поле за день.

Марина слушала, подперев щёку рукой. Она видела эту вышивку уже много раз — десятки лошадей на шкафу, но никогда не слышала истории каждой.

— Филипп, — спросила она осторожно, — а почему у тебя их столько было? Двадцать две — это же целый табун. Ты же не продавал никому. Зачем?

Пилипино помолчал, поправил очки. Потом взял иглу, повертел её в пальцах, словно она помогала ему собраться с мыслями.

— Я не знаю, — сказал он честно. — Просто так сложилось. Сначала купил Грома — он один был, и мне было с ним хорошо. Потом кто-то отдал мне Бурую, у неё хозяин умер. Потом сосед попросил присмотреть за жеребёнком — и я оставил его себе. А потом пошло-поехало. Каждая лошадь — отдельная история. Кто-то приходил сам, кто-то просился. Я не мог отказать.

— А деньги? — спросил Михеич. — Двадцать две лошади — это ж сено, уход,ковка.

— Деньги были, — ответил Пилипино. — Я тогда работал на ферме, да ещё и подрабатывал — лошадей объезжал. Мне платили. Но я тратил всё на них. Жена ругалась, говорила: «Филипп, ты себя не кормишь, а их кормишь». А я не мог иначе. Они — как дети. Каждый со своим нравом, своим именем. У меня была тетрадь — я записывал, кто когда родился, кто чем болел, кто кого боится. Даже масть — описывал до мелочей, чтобы не перепутать.

Марина покачала головой:

— И ты всех помнишь?

— Всех, — сказал Пилипино твёрдо. — Я каждую ночь перед сном мысленно прохожу по стойлам. Гром — слева первый. Рыжая Звезда — третья. Сокол — у окна. Буря — в конце, она норовистая, но я её любил больше всех. И их дети — Ветерок и Мальва. Два жеребёнка от Звезды. И ещё... всех, кто был я помню.

Он замолчал. Поднёс чашку ко рту, но не пил — просто держал.

— И что, — тихо спросил Михеич, — их всех... разом?

Пилипино кивнул, не глядя на него.

— Сказали, что чума. Но я не видел чумы. Лошади были здоровы, я каждое утро осматривал их. Мне сказали — отдай, иначе придёт комиссия и заберёт всё, а тебя оштрафуют. Я

не спорил. Я просто стоял и смотрел, как их выводят со двора. Гром — шёл последним. Он обернулся, посмотрел на меня, и я видел, что он не понимает. И я ничего не сказал.

Марина опустила глаза. Михеич откашлялся, громко, чтобы скрыть неловкость, и хлопнул ладонью по столу:

— Ну, хватит. Давай, Пилипко, показывай, кого ты ещё вышиваешь. Сейчас я всех вспомню — я же у тебя в конюшне бывал не раз. Помню белую, с просинью — Зорька, да?

— Да, — сказал Пилипино. — Зорька уже готова. На шкафу, третий ряд.

— А гнедую с белым пятном на лбу?

— Ласточка. Я её делаю следующей, после Грома.

Они сидели и перебирали имена, как старые друзья перебирают общие воспоминания. Пилипино показывал на каждую лошадь на шкафу — и Михеич узнавал, кивал, иногда называл клички сам. Марина не участвовала, но слушала внимательно, и в какой-то момент поймала себя на мысли, что эти нитки и иглы — не просто ремесло, а целая жизнь, которую он не отпускает.

Чай остыл, за окном стемнело, и керосиновая лампа начала мигать — пора было доливать керосин. Марина встала первой:

— Мне пора, Филипп. Завтра занятия в школе, рано вставать.

Михеич тоже поднялся, хлопнул себя по коленям:

— И я пойду. А то темно, велосипед без фонаря — как бы в кювет не улететь.

Они оба направились к выходу. Пилипино встал, проводил их до крыльца. Ночь была тёмной, без звёзд, только ветер шумел в деревьях, и сено у крыльца пахло уже прохладой.

— Ты завтра не голодай, — сказала Марина, заматывая платок. — Я тебе принесу может молочка, не обещаю. И не сиди до ночи с иглой — глаза испортишь.

— Ладно, — ответил Пилипино, и в голосе его не было привычного ворчания. Только усталость и тихая благодарность.

Михеич похлопал его по плечу и наклонился к велосипеду:

— Ну, Пилипко, пока. Смотри, сено я привязал хорошо — не улетит попутным ветром. А если захочешь, завтра ещё притащу, у меня в сарае полно.

— Спасибо, — сказал Пилипино.

Они ушли — сначала Михеич укатил в темноту, звеня цепью, потом Марина, ступая осторожно, исчезла за калиткой. Пилипино стоял на крыльце, слушал, как стихают шаги, и

смотрел в сторону конюшни. Дверь там всё ещё постукивала, но теперь он не слышал её — только ветер.

—

Он был на улице, вернулся в дом, закрыл дверь, и подошёл к столу. Вышивка Грома ждала его на месте. Он сел, взял иглу, вдел нитку и закончил второй глаз — жёлтый, внимательный. Гром смотрел на него с ткани, и Пилипино кивнул ему, как когда-то по утрам в стойле.

— Ну, — сказал он тихо, — вот мы и встретились.

Лампа горела, сено за окном пахло тихо и по-своему. В доме было тихо, но не пусто.

После того как Пилипино закончил второй глаз Грома, он отложил иглу и долго смотрел на вышивку. Гром смотрел на него с ткани — жёлтый, внимательный, живой. Старик провёл пальцем по гриве, поправил несколько ниток, которые легли криво, и удовлетворённо кивнул.

Время было позднее — стрелки на старых настенных часах показывали без четверти одиннадцать. Пилипино знал, что нужно ложиться спать, но организм не слушался: он был взбудоражен вечером, гостями, разговорами. И ещё — незаконченным делом. Он взял вышивку, отнёс к шкафу и нашёл для неё место: третий ряд, справа, между Зорькой и Бурей. Осторожно прибил гвоздиком и отступил на шаг.

— Ну вот, — сказал он вслух, — теперь ты дома.

На шкафу их уже было сто пятьдесят. Он не считал — не понадобилось. Он знает каждую, кто был в его жизни: какой ряд, какая кличка, какой масти. Иногда ему казалось, что они смотрят на него — все сразу, и тогда он чувствовал себя пастухом, который вывел своё стадо в поле.

Телефонный аппарат стоял в прихожей — старый, чёрный, с дисковым набором. Он почти не звонил, поэтому когда он зазвонил в этот час, Пилипино вздрогнул. Он подошёл медленно, снял трубку и услышал голос, который узнал бы из тысячи.

— Папа! Это Маша. Ты не спишь ещё?

— Нет, — ответил он и сел на табуретку рядом. — Не сплю. Только закончил вышивать Грома.

— Нового? — в голосе дочки мелькнула заинтересованность.

— Нет, старого. Первого. Помнишь его? Ты ещё маленькая была, когда он жил. Наконец-то руки дошли.

Маша помолчала на другом конце провода. Пилипино слышал, как она дышит, и представлял, как она сидит на кухне в городе, в своей маленькой квартире, наверное, пьёт чай и смотрит в стену.

— Помню, — сказала она наконец. — Помню, как ты посадил меня на него, когда мне было шесть. Он был огромный, я боялась, а ты держал меня за руку. А потом я смеялась и не хотела слезать.

— Да, — тихо сказал Пилипино. — Он был смирный с детьми. Только со мной — гордый.

Они помолчали ещё немного. Маша вздохнула:

— Пап, ты когда-нибудь устанешь их вышивать? Сколько у тебя уже? Сто?

— Сто пятьдесят, — ответил он, и в голосе его послышалась гордость, которую он не умел скрывать. — Восемь лет вышиваю. По одной в месяц, если сразу не получается — по две. Когда рука не слушается, когда нитки нет нужного цвета — жду, иду в сельпо, покупаю. Иногда всю ночь сижу, если лошадь сложная. Помню Бурую — ту, с белой звездой во лбу, — я её три недели вышивал. Не мог передать этот переход масти: она рыжая, а по бокам — тёмная, как глина. Я перебирал нитки, выпарывал, снова вшивал. А когда закончил, понял — вот она. Моя.

— Пап, — голос Маши стал мягче, — но зачем тебе сто пятьдесят? Что ты с ними будешь делать? Ты когда-нибудь думал о том, чтобы продать их? Или подарить музею? Я видела в интернете — люди продают вышитые картины.

Пилипино задумался. Он сам себе не задавал этот вопрос — не потому что боялся ответа, а потому что не видел в нём смысла.

— Зачем? — переспросил он. — Это же не картины, Маш. Это мои лошади. Я их не для продажи делаю. Я их делаю для того, чтобы они были. Понимаешь? Когда я вижу их на шкафу, я чувствую, что они не ушли. Они здесь. Со мной. Гром — вон, на третьем ряду, Буря — напротив, а где-то с краю — те, которых я вышивал самыми первыми, они уже выцвели, нитки потеряли цвет, но я помню их. И когда я беру иглу, я снова вижу их живыми. Это не вышивка. Это — память.

Маша долго молчала. Он слышал, как она дышит, и подумал, что она, наверное, плачет. Но он не стал спрашивать.

— Мама бы тебя поняла, — сказала она наконец. — Она всегда говорила, что ты — чужак. Но она любила тебя таким.

— Знаю, — ответил Пилипино. — И я её любил.

В трубке послышался шум — кажется, она вытирала нос.

— Ты хоть нормально ешь, пап? Марина Алексеевна сказала, что ты сегодня поел картошку. Это хорошо. Я ей заплачу за следующую неделю, чтобы она ходила каждый день.

— Не надо платить, — сказал Пилипино. — Она сама ходит. Я ей не мешаю. Она... — он запнулся, подбирая слово, — она заботливая. Тем более твоя учительница.

— Я знаю. Ты просто не прогоняй её, ладно? Она мне каждый день отчитывается, что ты съел. Ты же знаешь, я волнуюсь.

— Знаю, — сказал он и не стал спорить. — Ты спи, дочка. Поздно уже.

— Хорошо. Спокойной ночи, папа. Я люблю тебя.

— И я тебя, — ответил он и положил трубку.

Он постоял ещё мгновение, глядя на телефон. Потом хотел уже идти в комнату, но аппарат снова зазвонил. Пилипино удивился — два звонка за один вечер, такого не было уже давно. Он снял трубку:

— Алло?

— Папа? — голос был мужской, немного хриплый, сонный. — Это Николай.

Сын. Пилипино узнал его по первым трём словам. Но в этом голосе не было мягкости Маши — он звучал отстранённо, будто человек говорил по обязанности.

— Привет, Коля, — ответил он осторожно. — Как дела?

— Да нормально. Работа, семья. — Стандартный набор фраз. — Слышал, ты не спишь уже. Что, опять лошадей вышиваешь?

— Да. Только что закончил Грома. Начинал его днём, сейчас всё.

— Грома? — голос сына дрогнул, но он тут же взял себя в руки. — Его же... когда забрали, ты ещё...

— Помню, — сказал Пилипино спокойно. — Потому и вышел. Чтобы не забыть.

— Пап, — голос сына стал напряжённее, — а зачем? У тебя уже целая стена. Я помню, когда я был в последний раз у тебя, я насчитал больше сотни. Ты бы лучше отдохнул, гулял, или... я не знаю, что-то ещё делал.

Пилипино откинулся на спинку стула и закрыл глаза.

— Коля, я тоже хочу отдохнуть. Но если я перестану вышивать, я перестану думать. А если перестану думать, я перестану помнить. Понимаешь? Мне восемьдесят два года, сын. Восемьдесят два. В моей голове остались только лошади и ваш с Машей смех. Всё остальное — пустота. А когда я вышиваю, я вспоминаю, как пахло сено, как Гром бил копытом, как ты в детстве сидел на заборе и кричал: «Папа, покажи, как он скачет!». Ты помнишь это?

Николай молчал. Пилипино слышал, как он вздыхает.

— Я помню, — сказал сын тихо. — Я помню, как ты учил меня держать повод. Я тогда упал и разбил коленку, а ты сказал: «Ничего, бывает». А я ревел.

— Ты ревел, — подтвердил Пилипино. — А потом сел обратно и больше не падал.

— Пап, — голос Николая стал мягче, но всё равно звучал устало, — я хочу приехать. Не знаю когда, но... может быть, этим летом. Посмотреть на тебя. И на твоих лошадей.

Пилипино не поверил. Сын говорил так уже пять лет — обещал и откладывал, потому что работа, семья, деньги. Но сейчас он сказал это без обычной неуверенности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.